

И. ВОЛКОВ



**В СТАРОМ
ИВАНОВЕ**



И. ВОЛКОВ

В СТАРОМ
ИВАНОВЕ

ИВАНОВСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1 9 5 5

КРАСКОВАР АНДРЕЯН ДАНИЛЫЧ

На берегу реки Уводи грязным, вонючим пятном раскинулась фабрика Захара Кокушкина. Низенькие, приземистые корпуса без всякого плана расползлись по берегу реки, марая её воды всякою дрянью: кислотами, маслом и отбросами красок. Чёрнорыжим дымом и вонючим паром коптят голубое небо высокие железные трубы. Противно визжат на ржавых блоках двери фабричных корпусов, выбрасывая из своих тёмных, вонючих дыр заморённых людей в перепачканной красками одежде, с землистосерыми лицами и плоскими грудями. Грязно, некрасиво всё кругом: и эти измождённые, прежде времени состарившиеся люди, и старинные фабричные корпуса, закопчённые дымом, и сам фабричный городок.

Но, несмотря на внешнюю убогость и неряшливость фабричной обстановки, на фабрике Захара Кокушкина творится большое дело: сотни тысяч аршин ситца выбрасывает фабрика ежемесячно, заполняя ими рынки Поволжья, Кавказа и Ирана.

Где-то на задворках фабрики, в низеньком, похожем на берлогу, здании приютилась «красковарка», — та «святая святых» каждой ситценабивной и красильной фабрики, где под прикрытием величайшей тайны вырабатывались и хранились в старое время секреты «выкраски» и «рецепты»,

благодаря которым фабрика создавала тот или иной ходовой «сорт» крашеной ткани или рисунок ситца.

У каждой фабрики были секреты, свои сорта товаров, отличающиеся от других фабрик. Одна фабрика великолепно изготовляла «кубовые-заварные» ситца, другая художественно делала на ситце «вытравку», третья знала дешёвый способ изготовления «рябиновой краски», четвёртая отлично, как никто, готовила яркие, пунцовые «французские ситца», которые ещё Некрасов воспел в своих стихах:

А ситцы те французские
Собачьей кровью крашены..

Не знаю, красили ли в старину в Иванове ситца собачьей кровью, но что доморощенные ивановские «химики» и «колористы» 60–70 годов XIX столетия употребляли для обработки тканей с большим успехом коровий помёт, — это достоверно известно.

Прекрасно оборудованные химические лаборатории, — с десятками учёных химиков и опытных учёных колористов, появились на ивановских фабриках не раньше 80–90 годов XIX столетия.

В большинстве случаев в старое время наши ивановские фабриканты или сами варили краски по дедовским, переходящим из рода в род рецептам и секретам, или пользовались для этого доморощенными «химиками» в лице практиков-красковаров из наиболее умных и даровитых работников фабрики.

Вот таким самородком-химиком и был Андреян Данилыч, красковар фабрики Захара Кокушкина. На живые ходячие мощи похож красковар Андреян Данилыч... У него маленькая подвижная фигурка, плоская грудь; худое лицо, с глубоко впалыми глазами и голым черепом, покрыто тысячами морщин и изъедено фабричными кислотами; редкими клока-

ми болтается седеющая борода, сквозь туго обтянутую кожу щёк и шеи видно, как движутся кости скул и хрящи кадыка... Не на живого человека, а на какой-то мешок, набитый костями, похож Данилыч. С головы до пят вымазан он красками и кислотами: на лысине сияет большое жёлтое пятно, борода имеет фиолетовый оттенок, одна рука у него зелёная, а другая — чёрная, точно начищена ваксой.

Сорок лет работает Андреян Данилыч в Кокушкинской красковарке. От него всегда крепко пахнет чем-то едким и кислым, кажется, что сам он насквозь пропитан фабричными красками, составами и кислотами.

Убийственно вредна обстановка Кокушкинской красковарки. В низком, сыром и душном помещении, без всякой вентиляции, если не считать открываемой двери, стоят десятки медных котлов и каменных колб, в которых всё время что-то бурлит, варится, бродит и киснет. От этих котлов и колб поднимаются в изобилии раанозветные, тяжёлые, ядовито пахнувшие пары, а к ним примешиваются ещё более острые и ядовитые запахи от бутылей и каменных банок, что длинными рядами стоят по стенам красковарки.

Если войти в красковарку свежему, не привыкшему к фабричной атмосфере человеку, то его, как палкой, ударит в грудь этот нестерпимо удушливый, насыщенный ядовитыми испарениями воздух.

* *
*

Неустанно ходит Андреян Данилыч по красковарке, минутно открывая крышки котлов, заглядывая в них, заботливо подливая и подсыпая в котлы разные специи и бормоча что-то себе под нос или покрикивая кому-то в пространство: — Прибавь пару! Убавь! Тащи раствор!..

И когда, открыв крышку красковарного котла, Данилыч озабоченно бормочет что-то, обдаваемый из котла клубами зеленоватого или фиолетового удушливого пара, — на чародея, на средневекового алхимика похож он.

Вместе с Андреяном Данилычем в этом вонючем аду работают человек 10—15 рабочих. Все они, как и Данилыч, похожи на «живые мощи», на ходячие мешки с костями. Многие из них мучительно кашляют, хватаясь костлявыми руками за грудь. Кое-кто из них частенько выбегает из красковарки на свежий воздух, и долго, жадно, как рыба, выброшенная на песок, глотает свежий воздух.

Красковарка — самое гиблое, самое нездоровое место на фабрике: из цветущего юноши она в три-четыре года делает преждевременного старца, с дряблой кожей и землисто-серым лицом, покрытым мелкой сетью морщин, а через десять лет открывает человеку крышку гроба...

Только немногие из красковаров, благодаря какой-то счастливой особенности организма, выдерживают работу в красковарке и, как красковар Андреян Данилыч, живут и дышат этой ядовитой атмосферой красок и кислот десятки лет, но и их могучий организм в конце концов не выдерживает этого ада; огромное большинство красковаров кончает чахоткой.

— Андреян Данилыч! Иди, тебя хозяин зовёт... — говорит, влетая в красковарку, конторский мальчишка.

Данилыч, торопливо одёрнув костюм и на ходу смахнув со лба ляпок оранжевой краски, семенит в контору к «самому».

«Сам» — хозяин фабрики, Захар Леонтьевич Кокушкин, патриархального и сурового вида старик, в сюртуке старообразческого покроя, важно и повелительно говорит Андреяну Данилычу:

— Андреян, можешь ты подогнать такой колер? — и подаёт красковару образцы материи.

Андреян Данилыч долго смотрит сквозь очки на образцы, нюхает их, рассматривает на свет и даже пытается на язык, а потом скромно заявляет хозяину:

— Попробую, Захар Левонтьич.,

— В лепёшку расшибись, а добейся! Заказ предстоит большой... — внушительно говорит хозяин.

Андреян Данилыч, придя в красковарку, запирается в свою «секретную» (особая тесная комнатка в углу красковарки), долго роется там в записях, окунает полученные образцы в растворы, подвергает их действию огня и кислот, производя, очевидно, что-то вроде анализа. А потом, придя домой, он, наскоро поужинав, спускается в подполье, под печку, и долго сидит там при свете огарка.

В подполье у Андреяна Данилыча своя, домашняя, лаборатория: фанатик дела и исследователь по натуре, Андреян Данилыч не довольствуется тем, что ежедневно по 15 часов маринуется в красках и ядовитых кислотах на фабрике; он ещё дома, сидя в сыром подполье, работает над любимым делом. В подполье у него настоящая «лаборатория»: по стенам, на полках, стоят сотни пузырьков и баночек с какими-то снадобьями, в одном из углов две-три реторты, на столе неуклюжие, самодельные весы, старинное издание химии и ещё более старый сборник рецептов и несколько толстых пожелтевших книг, заклеенных образцами окрашенных тканей и испещрённых рукописными каракулями...

Так, сидя за полночь в своей домашней лаборатории, самоучка-химик Андреян Данилыч обдумывает свои «рецепты», создавая новые краски и оттенки, благодаря которым кокушкинские ситцы славятся далеко за пределами «Ситцевого царства» нежностью и богатством тонов к неизносимой прочностью своих красок.

Ивановские «набойки», обработанные по «рецептам»

и «секретам» этих доморощенных химиков и колористов, не утрачивали яркости и красоты своей окраски, пребывая в носке по 20—30 лет. Даже больше: в коллекциях Ивановского областного музея есть образцы ивановских набоек, платков, которые не утратили своей яркости и красоты рисунков, побывав на плечах двух-трёх поколений.

Долгий ряд бессонных ночей проведёт в подполье красковар Андреян Данилыч, пока откроет секрет окраски данных хозяином образцов и «подгонит» к ним образцы своей выработки.

Обычно равнодушно-деловито, без намёка на благодарность, примет хозяин это новое достижение скромного слуги-красковара и только, уже будучи разве отменно доволен этим, коротко и холодно бросит мастеру-самоучке:

— Молодец, Андреян... удружил. Вот тебе три рубля в награду...

И скромный, бесхитростный химик-самоучка, обрадованный тем, что хозяин «оценил» его труды, снова корпит дни и ночи над котлами и колбами с краской, стремясь постигнуть что-нибудь новое в области ситцепечатания и крашения.

Сидя в подполье бессонными ночами, Андреян Данилыч немало постиг и дал ивановской промышленности нового: он придумал какую-то дешёвую и красивую краску из окиси ржавого железа, он варил превосходную прочную чёрную краску из «чернильного орешка», он делал краску из «морёных» в пару и горячей воде полевых и лесных растений.

Немало переносил Андреян Данилыч своему хозяину таких, устных и на клочках серой бумаги записанных, ценных рецептов и секретов. И на этих изобретённых химиком-самоучкой «секретах» фабрика Захара Кокушкина нажила

огромное состояние, превратившись потом в одно из крупнейших предприятий.

А красковар Андреян Данилыч, отдав всю свою жизнь фабрике, в конце концов умер от чахотки, не имея возможности хотя бы мало-мальски обеспечить свою семью или дать своим детям какое-нибудь образование... Скромного, неутомимого труженика и несомненно талантливого человека, красковара Андреяна Данилыча, мало кто знал при жизни: ведь он был одним из тех миллионов незаметных тружеников, которые, хотя и построили по песчинке, по кирпичику целые, города, но носили безличное имя: рабочая масса...

ТКАЧИХА МАРЬЯ

На окраине города, на одной из самых грязных и кривых улочек фабричного пригорода «Рылихи», стоит маленький, дрянненький, слепленный из гнилых брёвен и глины домишко, наполовину ушедший в землю, точно стыдясь своего ничтожества.

Но ещё ничтожнее, ещё беднее прилепившийся к этому убогому домишку жалкий «приделок» — однооконная хатёнка, кой-как собранная и сколоченная из гнилушек и досок.

В этом жалком подобии человеческого жилища живёт ткачиха Марья Лепилина. Муж её — ткач Егор Лепилин, давно умер, источенный профессиональной болезнью — чахоткой. Трое ребят на руках у ткачихи Марьи: младшему сыну три года, а самой старшей дочери Анютке — восемь.

Рано утром, часу в четвёртом, задолго ещё до фабричного гудка поднимается с жёсткой постели тётка Марья и,

разбудив дочь Анютку, даёт ей торопливый «наказ по-хозяйству»:

— Смотри, Анютка, картошку не забудь сварить... К соседке Авдотье снеси её варить-то... Да ещё не забудь: сбегай пораньше на стройку, к мосту... щепок там набери, пока другие не подобрали их. Приду — обед на них вам сварю...

Слушает Анютка торопливые речи матери, тяжело мигая серыми глазёнками, ещё не стряхнувшими со своих век утренний сладкий сон, и, ёжась от холода, кутает своё худое тело в рваную рубашонку.

— Ну, Анютка, иди — припри за мной дверь! — бросает тётка Марья последний наказ, торопливо выходя из дома.

Темно, как в печной трубе, на улице рабочего пригорода; холодный осенний дождь хлещет в лицо; утренник-ветер лезет под одежду и нагло шарит там студёной и колючей рукой. Одетые на босую ногу дырявые башмаки полны холодной и липкой грязи.

Но ткачиха Марья привыкла к этим маленьким «неприятностям» жизни и, не обращая на них внимания, торопливой походкой бежит в другой конец города, объятая одним стремлением, одной мыслью: как бы не опоздать. Знает Марья, что за опоздание на 15 минут с неё вычтут полудневный заработок. Думая об этом, Марья чувствует, как холодеет от испуга её сердце... Совершая длинный путь к фабрике под осенним дождём, тщетно кутаясь в рваный платок от ударов мокрого ветра, вспоминает ещё тётка Марья, что дома в это глухое, ненастное утро остались одни её малые дети. Болит материнское сердце...

«Холодно в избе, зябнут, поди... А встанут — и поесть нечего: всего с полфунта хлеба вчера от ужина осталось...» — тоскливо думает Марья, торопливо шагая по грязным улицам...

Только прибежав в огромный трёхэтажный корпус фабрики, отойдёт немножко душой и телом тётка Марья. Тепло в фабричном корпусе: сотнями ярких огней горит и сверкает корпус; стучат, бьются и воют сотни ткацких станков, а над ними серо-коричневыми змеями извиваются ремни бесчисленных приводов... В этом хаосе звуков, в облике тёплой и едкой пыли, вздымаемой бешеными движениями станков и приводов, отдохнёт душой ткачиха Марья, отвлечённая шумом и работой от своих тяжёлых мыслей и забот о детях, о вязанке дров, о двух фунтах чёрного, чёрствого хлеба...

Но длинна десятичасовая «смена» ткача. Изнурительно стоять эти десять часов на ногах, наблюдая одновременно за работой двух ткацких станков. Недоброкачественна пряжа на фабрике купца Маракушева: то и дело рвётся она; чтоб не испортить ткань «близной» (спутавшейся ниткой), то и дело приходится Марье останавливать станки и с лихорадочной поспешностью скручивать концы разорвавшихся ниток.

Болит спина и рябит в глазах от этой работы, а от вдыхания тончайшей пыли, поднимаемой станками, першит в горле и мучительно ноет грудь.

И уставшей ткачихе опять лезут в голову тяжёлые мысли и думы. Помнится, пятнадцатилетней девчонкой, весёлой и краснощёкой, пришла она на фабрику купца Маракушева и с этой поры с головой окунулась в фабричную жизнь.

Много пришлось пережить ей всякой всячины, а больше такого, от чего невесело на душе... Пока была молода да красива, мучили её грубыми, настойчивыми и циничными ухаживаниями ткацкие мастера да подмастерья.

Много фабричных девушек потеряли таким образом, без радости и счастья, свою молодость, свою «девичью честь»; много из них после этого, постыдно затяжелев от хозяйского

сынka или мастера, спаслось от стыда и позора в грязных водах Уводи или на суку душистой сосны в бору, что тёмной стеной надвинулся на фабричный город...

Вспоминается ещё ткачихе Марье невесёлое замужество за таким же, как и она, рабом-ткачом, озлобленным вечной работой человеком, ищущим забвения от своей тяжёлой рабочей доли на дне винной бутылки.

Потом — одинокое вдовство с тремя малышами на руках и эта полуголодная жизнь в каком-то «приделке», похожем на собачью конуру.

Обычная, в тысячный раз повторяющаяся, история ивановской ткачихи...

Купцы Витовы, Фокины, Маракушевы и Ямановские, нажив колоссальные состояния руками этих ткачих, безвестных Марий и Дарий, понастроив себе роскошных дворцов, вовсе не думали о том, что тётки Марья и тётки Дарья, созидательницы их богатств, живут в ужасных условиях, где-то в грязных пригородах «Ям» или «Рылихи», ютятся в полузвериных берлогах, недосыпая, недоедая и полсуток работая на фабрике за 30—40 копеек, а остальные полсуток тратя на заботы по дому, как бы на эти 30—40 копеек накормить, одеть и отоплить четыре-пять живых душ...

* *
*

...Кой-как доработав долгую смену, тётка Марья через силу плетётся с фабрики домой. Не стара ещё она: всего каких-нибудь 35 лет, но фабрика уже согнула её стан, жёлтым пергаментом покрыла ей кожу и тяжёлой доской придавила грудь, бросив на темя и виски пригоршню инея преждевременной старости.

— Эх, тётка Марья!.. Суха ты стала, как вобла... А ведь давно ль, кажись, гладкая баба была, — грубо шутят товарищи-ткачи, а Марья в ответ только горько улыбается да, точно оправдываясь, тихо говорит:

— Забота о ребятёнках замаяла... ведь у меня их трое...

Придя домой, не отдыхает тётка Марья от тяжёлой фабричной работы, здесь её ждёт ряд тяжких работ и забот по дому.

Ещё лет пять—десять проскрипит, промается такой жизнью ткачиха Марья, а потом умрёт от туберкулёза. Умрёт, проработав 25—30 лет на фабрике, одев за это время тысячи людей в натканые её руками ткани и дав купцу Маракушеву, наверное, десятки тысяч дохода. Умрёт старая ткачиха Марья в холодной, нетопленной квартире, оставив в наследство детям дырявый платок да пару истлевших от времени юбок. Умрёт много беднее нищего, который ходит по улицам с сумой, славя фабрикантов «благодетелей»...

* *
*

...На окраине фабричного города раскинулось городское кладбище.

Среди яркой зелени берёз гордо высятся массивные памятники и кресты с горящими позолотой надписями:

«Здесь покоится тело 1-й гильдии купца фабриканта Щапова», или «Остановись, прохожий, и воззри; здесь лежит прах потомственного, почётного гражданина — фабриканта Гарелина.» Душистые розы, пышные георгины и нежно-белые астры окружают эти массивные памятники.

А где-то там, в дальнем углу кладбища, бесчисленными холмиками земли, точно верхушки кротовых нор, се-

реют сотни могил тех безвестных, давно забытых людей, что своими руками, стоя за станками и машинами, ткали славу и могущество «Ситцевого царства». Не белеют на этих безымянных могилах мраморные памятники и нежные астры. Разве кой-где стоит над ними, точно пригорюнившись, горькая рябина, а на рябине сидит и насмешливо каркает серая ворона...

...Как-то рано утром кладбищенский сторож, обходя дозором эту юдоль покоя, нашёл в углу кладбища, в числе безымянных серых могил, свеженасыпанный холмик земли, а на нём клочок бумаги с надписью:

«Здесь лежит тело ткачихи Марии, 30 лет проработавшей на фабрике купца Маракушева и умершей голодной смертью.»

МИШКА-СЛЕСАРЬ

Нет ему иного званья-имени:

— Мишка.

Иногда прибавят:

— Мишка-пьяница.

А тем, кто совсем не знает Мишку, дадут пояснение:

— Пьяница. Скандалист. Первый дебошир в слободке.

Мишка — длинный, как жердь, узловатый, жилистый, как старый тележный тяж. Мишке уже за сорок. На худом землистом лице клоками торчит седеющая бородёнка. Во всей невзрачной, щуплой и вечно грязной фигуре Мишки, пожалуй, самое симпатичное это его глаза; они сероголубые, маленькие, беспокойные, но в них что-то есть: всё время там огни какие-то горят, то потухая, то разгораясь; всё время в них, в этих маленьких сероголубых глазах, что-то

живёт и трепещет: точно калая-то большая птица в тесной клетке бьётся...

Иногда взглянешь в глаза Мишки и видишь: грустные они, печальные, точно туманом заволоклись, о чём-то небудничном думают. То вдруг вспыхнут, заиграют злыми огоньками маленькие Мишкины глаза, и готов тогда Мишка драться, скандалить со всеми, кто ему в это время слово поперёк скажет. Оставляет тогда Мишка работу, бежит поскорее в кабак и напивается до «чортиков». А на утро гоняется Мишка за женой, вырывая у неё на похмелку последний двугривенный, а потом, напившись, вновь долго колобродит по улицам, ко всем придираясь и скандаля.

Дурно, нехорошо живёт Мишка: день работает, три пьёт, жена и дети в забросе, голодают. В доме у него хуже и беднее, чем у другого нищего. Дрянной Мишка семьянин, да, пожалуй, и как человек никудышный...

Но Мишка незаменимый спец своего дела: он отличный слесарь, прекрасный токарь, недурной литейщик и даже механик. Когда перепьётся и, устав от вина и разгула, возьмётся с охотой за работу, — любо-дорого смотреть: поёт и танцует в его руках слесарная пила; покорна ему, как овечка, самоточка; расплавленный металл в руках у Мишки — воск топлёный, и любой станок, любая машина, данные ему в ремонт, слушаются Мишку и идут в ход.

Глядя на Мишкину работу, рабочие-товарищи говорят ему:

— Эх, Мишка, золотые у тебя руки, да голова навозная!..

А Мишка грустно отвечает:

— Не голова моя навозная, а сердце моё виновато: больно ретивое оно... покою не даёт!.. Уязвлённый я человек!

И начнёт Мишка горячо и страстно говорить про подлость человечью, про черноту людскую: про то, что на свете слишком много всякой дряни и несправедливости... Здорово,

на все корки, калит он тогда всё и вся, а больше всего достается начальству да фабрикантам. А потом, напившись после этого разговора, он ходит по улицам и орёт во всю глотку:

— Подлецы вы все!.. Негодяи!.. Мерзавцы!..

И трафит пуще всего, как бы в каком-нибудь богатом доме кирпичом окна разбить.

Призывает Мишку хозяин — сам Василий Арсентьевич Ясюнинский. Говорит Мишке:

— У меня, брат, закомуристое дельце есть для тебя!.. Можешь сделать?.. Идём, посмотрим...

Осматривает Мишка закомуристое дельце — видит, действительно заковыристая работка. С полминуты скребёт задумчиво в затылке, а потом буркает:

— Могу наладить...

Хлопают Мишку по плечу хозяин и механик, говорят:

— Молодец, Мишка! Приступай, налаживай...

Три недели бились другие слесаря-монтёры над этим закомуристым делом и всё-таки не смогли пустить в ход сложную фабричную машину. А Мишка посидел над ней всего полдня и пустил в ход. Хозяин и механик в восхищении говорят:

— Молодец, Мишка! Тебе бы не простым слесарем быть надо, а в инженеры-механики пойти бы...

А Мишка в ответ бурчит мрачно:

— Где уж нам с благородным сословием тягаться: рылом не вышли...

И вдруг, точно кто его шилом ткнул, начинает «пушить» хозяина и механика.

За грубость и пьянство гонят Мишку то с одной, то с другой фабрики. А через неделю опять зовут:

— Иди, Мишка: что-то у нас с ремонтом не ладится... Нет дельных слесарей-монтёров...

И Мишка опять дело ладит на удивление всем.

Строится новый корпус прядильни. Идёт горячая установка сложных машин. И Мишкины золотые руки пришлось здесь очень кстати: как виртуоз-артист играет Мишка здесь на всех фронтах: ему первому поручается сборка сложных ватеров; его первого зовут туда, где нужно дельно подмогнуть заграничным мастерам-установщикам: Мишка вперёд всех на установке трансмиссий.

Всюду ловко работают Мишкины золотые руки, но всё дело портит «навозная голова».

Высоко дерёт нос англичанин-инженер; не по-людски смотрит и не по-человечески обращается мистер Джонсон с рабочими, — и Мишка не выдерживает; мимо мистера носа прожужжал тяжёлый молоток; ещё на полдьюма левее — и мистер Джонсон остался бы без носа. Не стерпела Мишкина «навозная голова» джентльменского обхождения англичанина с рабочим людом, — запустила в мистера молотком.

Через час Мишка уже уволен за дебоширство...

А через три дня Мишка снова на фабрике: некому газогенератор чинить.

Суббота. Получка денег. Мишке платят хорошо: целых 25 рублей заработал за одну неделю.

Завидуют товарищи:

— Эх, Мишка... кабы не твоя навозная голова, — ты бы с такими получками в гору далеко пошёл...

Идут рабочие с получкой домой — жёнам деньги поскорее на хозяйство отдать. А Мишку не тянет домой; скучно ему там, тесно, тоскливо. Душа простора просит; в навозной голове рой мыслей. Сердце чего-то иного жаждет. Кажется вот всё Мишке: будто он большой и сильный, а посадили его в тесную ореховую скорлупу и сказали: не рыпайся, Мишка, потому — ты червяк ничтожный... Оттого тоскливо, душно, тесно ему...

* *
*

...Сидит Мишка на широкой лужавине в новой шёлковой рубаше и с шикарной двухрядкой в руках. Перед Мишкой стоит бутылка водки.

— Гей, подходи, товарищи!.. Угощайся!.. — захмелевшим голосом кричит Мишка и залихватски наигрывает на гармонике.

Это Мишка гуляет во-всю после тяжёлой недельной работы на заводе.

В конце гулянья опьяневший Мишка с кем-нибудь поскандалит, в клочья изорвёт на себе алую шёлковую рубашу и растопчет гармонику. А на утро проснётся с большой от винного угара головой и без копейки в кармане.

Иногда Мишка на время остепеняется: перестаёт пить и скандалить; запирается у себя дома в сарайчике и почти безвыходно сидит в нём, что-то чертя на бумаге или точка и сверля на самодельном токарном станке. И каждый раз такое сиденье в сарайчике знаменуется каким-нибудь открытием. Или Мишка придумывает новое приспособление к станку, или, на удивление всей рабочей слободке, выезжает из сарайчика на самодельном велосипеде необычайной конструкции, или тащит на реку какие-то самодельные самоходы по воде...

Пытливый Мишкин ум в соединении с тридцатилетней практикой придумал десятки разных ценных приспособлений, которые Мишка отдал задаром тем фабрикам, где работал, совершенно не ценя сам этих изобретений. Он придумал, как лучше и крепче закаливать слесарные зубила. Он усовершенствовал строгальный станок; он шутя изобрёл «счётчик оборотов» для ткацкого станка; он нашёл усовершенствованный способ точить сложные ножи «стригальных машин» для тканей...

И всё это он, спьяна и по русской доброте, отдал не ценя другим, задаром.

Однажды Мишка представил в контору фабрики «на усмотрение» чертёж сушильных барабанов новой конструкции.

Англичанин-инженер посмотрел в чертёж, удивлённо и радостно повёл густыми рыжими бровями; несколько раз про себя шопотом произнёс:

— Ол райт!.. Ол райт!.. (Очень хорошо...), — старательно скопировал чертёж, копию положил себе в карман, а оригинал отдал обратно в контору фабрики, надменно пробурчав:

— Некарашо!.. Плёхо!.. Ер... Ер...

— Ерунда!.. — кто-то услужливо подсказал ему. Англичанин утвердительно покачал головой и рассмеялся, показав ряд крупных лошадиных зубов.

А через три года на русских текстильных фабриках появились новые патентованные «экономические сушильные барабаны» английской фабрикации.

Глядя на рисунки и описание этих барабанов в преёскурантах технических фирм, кто-то вспомнил на Ясюнинской мануфактуре:

— Во-на: наш Мишка чертил и придумывал, такие барабаны... А англичане, оказывается, уже давно их делают. Напрасно бедняга трудился...

Мишка сгорел от вина, оставив нищей голодную семью в холодной, ободранной квартире и кучу каких-то чертежей в сарайчике. Эти чертежи Мишкина жеиа снесла соседнему лавочнику на обёртку. А лавочник, сидя в лавчонке, иногда от скуки развёртывал Мишкины «бумаги», смотрел на них, качал головой и бурчал:

— Ну и Мишка!.. Затейник был!.. Ишь, чего наваракал...

...Родись слесарь Мишка в другое время, при иных условиях, может быть, его имя если и не стояло бы в рядах великих изобретателей, то всё же было бы записано где-нибудь в словаре как имя даровитого самородка.

Но Мишка жил в царской России, в диком, тёмном «Ситцевом царстве», в такую эпоху, когда поэт-народник Рыскин, уроженец наших краёв, писал:

Сызмала, смолоду
Тяпнули, братцы, мы холоду, голоду.
Горе по белому свету скиталось,
С нами слюбилось, с нами спозналось...

МЕФОДУШКА-СИРОТА

Мефодия Никоновича Гарелина, «мануфактур-советника» и главного директора-распорядителя «Торгового дома Никона Гарелина С-вья», в общезнании, за глаза все зовут «Мефодушкой-сиротой», а иногда просто «Мефодкой».

«Сирота» — глава крупнейшего фабрично-торгового предприятия. На окраине города, точно владения средневекового князя, стоит, занимая огромное пространство, Гарелинская фабрика, окружённая высокими заборами. Десятки фабричных корпусов высятся там, коптя небо сотнями труб и сотрясая воздух тысячами бешено крутящихся машин и станков... Пять тысяч рабочих работают на Гарелинской фабрике, неустанно куя Мефодкино счастье.

Десятками миллионов рублей исчисляется состояние «Сироты». Тысячи людей трепещут перед Мефодкой на его фабрике, обливаясь холодным потом при одном взгляде его тусклых чёрных глаз; десятки других королей и князей «Ситцевого царства», калибром помельче, боятся Мефодки, как боится мелкий хищник более крупного хищника...

И когда проезжает Мефодушка по стогнам «Ситцевого

царства» в старомодной неуклюжей карете, запряжённой раскормленными конями, то встречный люд, точно от ветра, гнётся перед Мефодкиной каретой.

Огромна, неограниченна власть «Сироты» в «Ситцевом царстве»: одних он может, прогнав с работы, заморить голодом, других задавить своим неисчислимым капиталом...

Чёрств, беспощаден в погоне за наживой Мефодушка-сирота. Часто слышишь, как шепчутся в рабочих кварталах «Ситцевого царства», в убогих лачугах:

— Мефодка всё может сделать... Для него человека раздавить, что плюнуть...

И работница-мать, уговаривая капризничавшего ребёнка, угрожающе шепчет ему:

— Молчи!.. Нишкни!.. А то отдам тебя Мефодке-сироте...

Не зная меры своей жадности, лютым зверем рыщет «Сирота» из этажа в этаж по бесчисленным корпусам своих огромных фабрик, стуча палкой в пол и хрипя:

— Сволочи! Дьяволы!.. Добра хозяйского не жалеете... С фабрики вышвырну... Голодом заморю...

Грозен и страшен Мефодушка-сирота, окружённый ослепительным ореолом своих миллионов. Но жалок он видом: маленький, сухой, жёлтый, с голым черепом, на котором лишь косичками торчат чёрно-седые жёсткие волосы; костлявая, старчески дрожащая рука судорожно сжимает палку, а на худых узких плечах смешно болтается старое-старое, порыжевшее уже от времени пальтишко. Не похож по внешнему виду Мефодушка-сирота на одного из самых могущественнейших королей «Ситцевого царства», — смешон, ничтожен он видом.

Невероятная скупость и ненасытная жадность к умножению своих богатств иссушили Мефодку: ради увеличения Своих миллионов десятки лет мучит Мефодка тысячи других

людей, как мучили их его отцы и деды, создавая могущество «Торгового дома Никона Гарелина С-вья»...

Феноменально скуп Мефодка. Живёт он в огромном доме-особняке только с женой-старухой. Занимает всего две-три комнаты. Обед имеет из двух, самое большее — трёх блюд и то самых простых и дешёвых. Прислуга у него живёт где-то в сырых «мурьях», и получает она продовольствие со счёта да с веса.

Дивятся окружающие: и куда только копит Мефодка свои миллионы? Ведь у него, говорят, только в лондонском банке лежит пять миллионов рублей чистоганом.

Про Мефодушкину скупость ходят бесчисленные анекдоты.

Рассказывают, что когда рабочие или служащие, обременённые семьёй, пытались «припереть» хозяина где-нибудь в узком проходе и старались выклянчить у него прибавку на бедность, то «Сирота», сбросив с своих плеч обтрёпанное, порыжелое пальтишко, кидал его просителю со словами:

— На, грабь!.. Грабь сироту!.. — и, пользуясь замешательством просителя, скрывался.

Был и такой случай. В городской думе шло заседание по вопросу об устройстве в городе водопровода. Гласные думы обступили Мефодушку с просьбой:

— Мефодий Никонович, на земле ваших фабрик есть могучие ключи и источники с отличной водой. Подарите эту землю городу. Этим вы облагодетельствуете город и население, а земля у вас всё равно валяется зря.

Мефодка встал на дыбы:

— Нет, не дам. Самому нужна земля...

Гласные не унимались:

— Не скупитесь, Мефодий Никонович. Город вас вечно будет почитать добром за это.

Видя, что от просителей так не отбояришься, «Сирота» вскочил, сбросил с плеч сюртук «мануфактур-советника» и, кинув его гласным думы со словами: «Нате, грабьте сироту», — без сюртука уехал из думы домой.

На другой день испуганная дума снарядила к «Сироте» особую депутацию для возвращения разгневанному властелину «Ситцевого царства» старенького советнического сюртучишка...

Возвращается как-то Мефодушка с фабрики к себе домой. В воротах дома встречается с монашкой; идёт та, истово крестится и всё кого-то добрым словом поминает:

— Дай тебе бог доброго здоровья! Родителям твоим царство небесное!..

Учяя Мефодка недоброе, подкрался к монашке, спрашивает:

— Кого это ты добром поминаешь, монашка?

А монашка, не зная — кто стоит перед ней, отвечает:

— Добрую барыню из этого дома... Пять рублей мне подала... Царство ей небесное, родителям вечный покой...

Мефодушку так и передёрнуло: его жена отвалила монашке такой куш.

— Ну-ка, — говорит «Сирота», — покажь деньги-то...

Монашка вынимает из книжки новенькую пятирублёвку, а «Сирота» как взвизгнет:

— Ой, как много!.. Не за что... не за что... — и, выхватив одной рукой у монашки пятирублёвку, а другой сунув ей двугривенный, помчался от неё прочь.

Монашка за ним.

— Стой, мошенник! Стой, грабитель! — бежит и вопит что есть силы.

Дворник, свидетель этой сцены, поймал монашку за плечо:

— Чего лаешься, старая карга? Не видишь нешто, что это сам хозяин, Мефодий Никоныч...

Озадаченная монашка только руками в отчаянье всплеснула и горестно поплелась прочь.

Благодаря своей скупости «Сирота» попадал иногда в презабавные переплёты.

Тёплый летний вечер, канун какого-то праздника. «Сирота» устало идёт по фабричному двору, направляясь уже домой. Вдруг до его уха доносятся отрывок разухабистой песни и глухие удары.

Мефодий Гарелин вспомнил, что это бьют сваи рабочие на мосту, соединяющем фабричный двор с заречной частью города. Не стерпело хозяйское сердце: дай взгляну на работу. Не успел «Сирота» подойти к работающим, как его окружила разношёрстная толпа оборванцев, набранная для этой случайной работы от кабаков и с базарных площадей.

Толпа радостно орала:

— С наступающим праздничком, Мефодий Никоныч! С окончанием работ! На чайшко с вашей милости...

Мефодка сообразил, что сделал глупость, придя сюда, в эту толпу бесшабашных людей. Это не свои рабочие: окрика не испугаются и словами не отбояришься, — пожалуй, придётся трёшницей поплатиться...

И уже решил пустить в ход давно испытанное средство — бежать. Но не тут-то было: зная привычки хозяина, толпа рабочих окружила его тесным кольцом и продолжала орать:

— С наступающим праздничком, хозяин! На чаёк с вашей милости!..

Рассвирепел Мефодушка, сбросил с плеч своё порыжевшее пальтишко, кинул его толпе со словами:

— Нате, грабьте сироту!.. — и помчался прочь.

* *
*

В 90-х годах прошлого столетия на фабрике Гарелина работала ещё такая древность фабричного машиностроения, как «балансирная паровая машина» — чуть ли не первообраз механического двигателя. Тщетно убеждали инженеры Мефодушку-сироту выбросить эту музейную редкость из фабричных корпусов. Инженеры говорили хозяину:

— Поймите, Мефодий Никонович, эта машина теперь крайне невыгодна в производстве: работает она очень медленно, а топлива жрёт уйму.

Но «Сирота» долго не соглашался. Будучи совершенно бесчувственен к лишениям и страданиям людей, он питал странную жалость к машинам и на предложение инженеров ответил:

— Вот тебе раз: работала, работала машина почти сто лет и вдруг её выбросить... Да знаете ли вы, что она ещё при дедушке моём нашу фабрику везла. А вы вдруг — выбросить её... Эх, вы... Жалости у вас нет... — И музейный осколок прошлого продолжал работать.

Но иногда инженерам удавалось сломить упорство хозяина, играя на его слабой струнке — скупости. Так, они убедили Мефодия Гарелина поставить на своей фабрике первую паротурбину. Когда ставилась эта машина, Мефодка старательно обходил машинное отделение ворча:

— Терпеть не могу этих новшеств. Только деньги зря иностранцам отдают...

Только когда машина была собрана уже вполне, пришёл посмотреть на неё Мефодий Гарели. Пришёл и ахнул:

— Это за такую маленькую штучку с меня столько денег содрали?

Инженеры успокаивали хозяина:

— Мефодий Никонович, тут дело не в величине самой машины, а в её силе и экономичности.

— Ах, что вы мне это говорите... — отмахнулся от них хозяин, обошёл вокруг машины, постучал в неё палочкой, а потом присел у её подножья и прослезился.

— Такая маленькая и столько денег стоила... Ограбили, ограбили, мошенники, сироту...

Растерявшиеся инженеры не знали, как понимать эту сцену: шутит ли их хозяин или всерьёз...

Таких рассказов о Мефодушке-сироте ходило много.

* *
* *

Но Мефодушка был далеко не глуп. Он великолепно управлял своей фабрикой, создав из небольшого фабричного дела колоссальнейшее торгово-промышленное предприятие.

Будучи в звании «мануфактур-советника», он не ездил в Петербург на разные съезды, где великолепно отстаивал и защищал интересы если не родного города, то интересы свои и своих товарищей фабрикантов. Никто лучше Мефодия Гарелина не знал, когда нужно сбыть товар и закупить сырьё. Бывало фабриканты только и смотрят: начал ли закупку хлопка Мефодий Никонович?.. Начал, значит, и им пора закупать его.

Мефодий Гарелин был религиозный человек: много лет состоял ктитором городского собора и строго следил за тем, соблюдают ли его рабочие и служащие «веру» своих отцов. Но набожность не помешала Мефодке и на религии сделать хорошее коммерческое дельце. Старший брат Мефодия, кажется, Иван, умирая, оставил ему большой капитал с тем, чтобы на эти деньги Мефодий построил храм. «Сирота» волю брата ис-

полнил, но истратил на постройку храма всего одну пятую зашечанного капитала, а остальные деньги пустил в оборот. По крайней мере так упорно рассказывает народная молва...

Мефодий Гарелин прекрасно знал людей и обладал «секретом», как управлять ими и извлекать из них максимум пользы. Эксплуатируя рабочих, он искусно жал из них последние соки, а выжав всё, безжалостно выбрасывал человека за борт как уже ненужную вещь.

Понадобился ему дворник. Приходит наниматься здоровый мужик. «Сирота» остался очень доволен его внешним видом, но решил проэкзаменовать его, чтобы выявить работоспособность нового раба. Между хозяином и работником происходит разговор:

— У меня, брат, хорошо, вольготно служить. Утром чай...

— Это уж как полагается... — почтительно басит мужик.

— К чаю краюшка белого хлеба... Ешь, пей вволю...

— Знамо дело, рабочему человеку надо сначала подзакусить...

— После чаю, немножко погода, обед... Хороший обед, жирный... Ешь вволю, не торопись...

— Это уж как полагается... Знамо дело, надо пообедать...

— После обеда можешь отдохнуть...

— Знамо дело, надо отдохнуть...

— Отдохнувши, садись за вечерний чай, пей вволю, не стесняйся... — продолжает соблазнять Гарелин простоватого мужика.

— Знамо дело, как полагается... — вторит мужик, зачарованный хозяйскими речами.

— После вечернего чаю полагается ужин... Хороший ужин, сытный...

— Знамо дело, надо поужинать... — бубнит распутивший уши мужик...

— После ужина сейчас же ложись спать... — продолжает соблазнять простеца хитрый Мефодушка.

— Знамо дело, рабочему человеку надо и отдохнуть... — поёт уже совсем разлакомившийся на такое вольготное житьё работник.

— Ах, ты, сукин сын! Когда же ты работать-то будешь?.. — вдруг гаркает на мужика «Сирота»...

* *
*

Особенно чёрств «Сирота» с рабочими своей фабрики. «Скотина!», «Дурак!», «Олух!» — у Мефодия Гарелина нет иных имён и названий для своих рабочих, которые поколениями строили могущество фирмы «Никона Гарелина С-вья». Не лучше относился Гарелин и ко всем остальным, окружавшим его. Десятками лет, целым рядом поколений воспитывался Мефодкин эгоизм и его холодное презрение к людям: ещё его деды ездили на шее рабочих, ещё «тятенька» научил Мефодия тому, что рабочий человек — не человек, а скотина, а то и того хуже — просто ничтожный винтик в огромной фабричной машине.

Но странное дело: в душе этого эгоиста и закоренелого Плюшкина, человека-машины для умножения миллионов, таилась привязанность к музыке.

Суки ради Мефодушка организовал оркестр из рабочих и служащих; он интересовался этим оркестром и нередко сам дирижировал им. И странно было видеть за дирижёрским пюпитром его плюшкинскую фигуру с хищным профилем, старающуюся извлечь из массы живых тел и медных труб звуки какого-нибудь вальса.

Говорят, что «Сирота» был не чужд и других «человеческих чувств»: устав, он изредка выезжал за границу, где

пил шампанское из тувфелек балерин и вообще «жил». Рассказывают даже, что «Сирота» не прочь был «почудить» за границей и удивить иностранцев традиционной щедростью «русских бояр». Говорят, что там в Париже или в Баден-Бадене «Сирота» прикуривал сигару от свечки не иначе как двадцатипятифранковым билетом.

На 76-м году своей жизни «Сирота» тяжело заболел. Все с огромным интересом ждали, что сделает со своими несметными богатствами скупой старик, лёжа на смертном одре. Говорили:

— Не утащит же старик свои богатства на тот свет. А здесь их некому оставлять: кроме жены-старухи, тоже глядящей в могилу, у него никого близких нет. Наверное, хоть после смерти сделает старик что-нибудь хорошее для родного города и своих рабочих...

Но ошиблись люди: умирая, Мефодка остался верен себе: ни гроша не завещал он из своих богатств на дела благотворения и нужды города...

ВНУТРЕННИЙ УКЛАД ФАБРИЧНОЙ ЖИЗНИ

Внутренний уклад ивановской фабричной жизни в 80—90-х гг. прошлого столетия имел строгую иерархию: на самом верху «царями и богами» гордо восседали «господа хозяева». Держали они себя в отношении рабочей массы невероятно надменно. Обращение хозяев с рабочими носило грубый, дикий характер, и рабочему в устах фабриканта не было настоящего, человеческого имени-звания. «Эй, ты!.. Чорт!.. Дьявол!..» — вот что слышал рабочий, когда к нему обращался «хозяин». «Я вам царь и бог!.. Без меня вы ничто!..» — говорили рабочим ивановские фабриканты, снисходя иногда, в силу необходимости, до беседы с ними...

А фабриканты Маракушевы разговаривали со своими рабочими не иначе, как на сквернословном жаргоне, не обращая внимания на то, кто перед ними стоит: мужчина, женщина или даже совсем юная девушка-работница.

Рабочие Маракушевской фабрики жаловались:

— Наши хозяева, пока тебе слово человеческое скажут, — двадцать раз скверно мать твою помянут...

Нередко фабриканты, имея дело с рабочими, пускали в ход кулаки и палку. Случалось даже, что под «горячую руку» хозяева насмерть «зашибали» рабочих. В большинстве случаев такое «зашибание» фабриканту сходило безнаказанно.

За фабрикантами, этими властелинами «Ситцевого царства», шла высшая фабричная администрация: управляющие, колористы, механики, бухгалтеры. Беря пример со своих хозяев, эти верные слуги капитала в большинстве своём тоже считали верхом административной мудрости презрительное отношение к рабочей массе.

Когда в фабричном корпусе раздавался тихий, предупреждающий возглас: «Управляющий идёт»... или: «Механик шагает...», то рабочие благоразумно устранились за работой так, чтобы возможно незаметнее промелькнуть в поле зрения строгого начальства.

— Чортова голова!.. Дурья башка!.. С фабрики сгоню!.. В 24 секунды за ворота выброшу!.. — кричали «всемогущие» управляющие и колористы, проходя по длинным фабричным корпусам. Внимая этим грозным окрикам, быстрее вертелись машины, ниже гнулись над работой спины, и бледно-серой пылью испуга покрывались лица многих рабочих...

Нравственный и умственный уровень ивановских фабрикантов, даже в конце XIX в., был невысок. В огромном большинстве ивановские фабриканты были люди глубоко невежественные, получившие образование у приходского

дьячка и ничего, кроме фабричных «приходо-расходных ведомостей», не читавшие.

Не лучше хозяев-фабрикантов были и их главные помощники в фабричном деле: управляющие, механики, колористы и бухгалтеры. Учёных и образованных среди них было мало.

Обычно эти люди, как и их хозяева, были людьми практики: огромное большинство из них начинало фабричную карьеру с низших ступеней: колористы и химики — с простого красковара, механики — с рядового слесаря, управляющие — с конторского мальчика.

Мелкая служилая фабричная братия — ткацкие, прядильные и красильные мастера, табельщики, приказчики, конторщики, смотрители и т. п. — получали свою профессию «по наследству»: не только их отцы, но часто даже деды служили в тех же самых должностях и на тех же самых фабриках. Служилая мелкота гордилась:

— Ещё мой дедушка на этой фабрике работал И так же, как и я, штрафовал рабочих.

— Я — старая «фабричная косточка»...

Этой «фабричной косточкой» коренные ивановцы гордились подобно тому, как гордился дворянин своими «грамотами», изъеденными мышами.

Иногда, в самозабвении гордости, мелкий ивановский «служилый элемент» говорил даже:

— Мы — не простые рабочие: мы — служащие, — значит, фабричная «белая кость»...

Эту «белую кость» рабочие иронически называли «шишками», а в порыве гнева и злобы — «хозяйскими наушниками».

Господа фабриканты управляли фабриками методами азиатских сатрапов. Фабрикант Дербенёв, например, любил говаривать в дружеской компании:

— Я с рабочими веду себя чорт-чортом!.. Это самый луч-

ший способ управления фабрикой: меня рабочие боятся как огня...

Страх, грубое насилие, произвол — вот три основных устоя, на которых зиждилась внутренняя жизнь ивановской фабрики до самой Октябрьской революции. Шпионство, наущничество и взяточничество тоже входили как необходимые элементы в управление фабрикой. На каждой фабрике обязательно были десятки хозяйских шпионов, которые доносили хозяину обо всём, что заслуживало (с их точки зрения) хотя бы малейшего внимания. На шпионстве люди делали себе карьеру, постепенно подвигаясь по служебной лестнице.

В 80—90 гг. можно было нередко наблюдать на ивановских фабриках такие «бытовые» сценки и разговорчики. Вызывает хозяин к себе в кабинет мелкого служащего и читает ему строгий допрос:

— Слышал, ты книжки какие-то всё читаешь?

— Да-с... то есть, никак нет-с... — путается перетрусивший раб.

— Говорят, газетами увлекаешься: фельетоны да статьи из них товарищам читаешь про то, как за-границей людям живётся?

— Виноват-с... Больше не буду... простите! — лепечет дрожащий раб под тяжёлым взглядом хозяина...

— Говорят, в церковь редко ходишь? Бога забываешь?.. Говорят, на чорта больше надеешься? А?.. — продолжает хозяин допрос.

После такой «исповеди» работник бомбой вылетал из хозяйского кабинета и, придя домой, давал клятву — забыть отныне, с какого места читаются книги и газеты.

Ивановские фабриканты так далеко простирали заботливость о чистоте нравов своих работников, что, не ограни-

чиваясь слежкой за их поведением на фабрике, вторгались и в домашнюю жизнь рабочего.

У фабрикантов Фокиных существовал обычай, чтобы каждый служащий — и даже иногда рабочий или мастеровой — женился лишь с разрешения хозяина.

Задумавший жениться должен был придти к хозяину и сказать:

— Яков Никонич, я хочу жениться...

— На ком?.. Кто родители твоей невесты?..

После такого допроса иногда выходила резолюция:

— Погоди, рано ещё тебе жениться...

Или:

— Брось эту невесту!.. Я тебе другую подыщу... Возьми-ка в жёны мою горничную Агашку...

Иногда эта Агашка оказывалась с изрядным «браком», но пренебрегать хозяйскими советами, а тем более определёнными требованиями — не полагалось...

На ивановских фабриках процветало взяточничество. Взятки брали все, начиная с низшей и кончая высшей администрацией. Табельщик брал взятку с рабочего за то, чтобы перетащить его на более хорошо оплачиваемую или более лёгкую работу; мастер брал с рабочего взятку за обучение и «доброе» обхождение; управляющий или механик не брезговал принять от рабочего поросёнка или сотню яиц за то, чтобы дать ему работу. С женщин-работниц взятка обычно бралась «натурой». Принудительная проституция была издавна широко распространена на ивановских фабриках. На всякую вновь попавшую на фабрику «свеженькую» работницу, особенно если она была недурна собой и молода, — устраивали форменные облавы: охотились господа-хозяева, управляющие, мастера, подмастерья, табельщики.

Самое настоящее уголовное преступление — изнасилование работниц — на ивановских фабриках в дореволюционное время было довольно заурядным явлением. Несчастной жертве

в данном случае совали в руку в виде компенсации «четвертной билет» или «отрез ситца на платье», а особенно строптивых работниц умирляли угрозой прогнать немедленно с фабрики...

Немало драм разыгралось на этой почве в стенах ивановских фабрик. Много добровольных жертв, в виде опозоренных работниц, приняла вместе с фабричными отбросами грязная, вонючая от красок река Уводь. И много сосен в окрестных борах и рощах видели на своих корявых сучьях безжизненно повисшие тела молодых работниц...

Конечно, такой произвол администрации чрезвычайно волновал рабочих, и они, начиная в мае 1905 г. знаменитую стачку ивановских текстильщиков, не замедлили включить в предъявленные фабрикантам требования особые пункты об изменении уродливого уклада фабричной жизни. Предъявляя свои требования, рабочие настаивали, между прочим, на немедленном устранении наиболее зарвавшихся администраторов и вообще требовали более человеческого отношения к себе...

Несмотря на чрезвычайную строгость фабричного режима, несмотря на хорошо работавший на фабриках хозяйский и полицейский шпионаж, несмотря на вековую забитость и запуганность рабочих масс, на ивановских фабриках в конце 80-х и начале 90-х гг. уже определённо нарастало среди рабочих оппозиционное отношение к существующему порядку вещей. Всё чаще и чаще на фабриках происходили всякого рода столкновения рабочих с администрацией, или, по терминологии фабрикантов, бунты. Эти «бунты» выражались в том, что насолившего администратора рабочие вывозили с фабричного двора в тачке и сваливали его под гиканье и свист товарищей в мусор или грязь. Порой зарвавшегося мастера или табельщика подкарауливали в тёмном и глухом переулке, тащили к реке Уводи и, спустив его с моста вниз головой, брали с провинившегося обещание быть добрее к

рабочим. Иногда столкновения рабочих с администрацией носили более серьёзный характер: окружив на фабричном дворе хозяина тесной толпой, рабочие настойчиво требовали улучшения условий работы.

В конце 80-х и начале 90-х гг. на ивановских фабриках стали всё чаще и чаще появляться революционеры из центра (Петербурга и Москвы), а также с юга. Проникнув на фабрики под видом чернорабочих, они вели здесь довольно искусно смелую пропаганду: окружающая рабочая масса методически и неустанно просвещалась в повседневных разговорах; на фабричных лестницах и в коридорах корпусов в изобилии начали появляться неизвестно кем разбросанные прокламации; в фабричных уборных агитаторы вели долгие беседы с наиболее податливыми рабочими. В дореволюционное время фабричные уборные играли на фабриках очень большую роль. Здесь рабочие назначали друг другу свидания и встречи, здесь подолгу велись беседы на всевозможные темы, здесь читались газеты и книжки, здесь, наконец, устраивались рабочие «собрания и даже «летучие митинги»...

Я помню, как в одной из таких фабричных уборных на каменной стене красовалась глубоко выцарапанная гвоздём надпись:

Сюда, товарищи, почаще вы ходите
И что толкуют здесь, старательно внемлите!
Здесь просвещение рабочему даётся,
А фабрикантам плетъ хорошая плетётся...

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И БЮДЖЕТ РАБОЧЕГО

Нелегко, а порой и совсем невыносимо жилось рабочим ивановских фабрик в 80—90-х гг. прошлого столетия.

Семья фабрикантов Фокиных, славя на всю округу за «щедрых благотворителей», оделяя по «родительским субботам» и в праздничные дни «нищую братию» пятаками и булками, сэкономила потом розданные пятачки на жалованье рабочих. Фабриканты Витовы и Гандурины, широко благотворя попам и монахам, платили своим рабочим весьма низкие ставки.

На сдельной работе зарабатывали: ткачи от 10 до 15 рублей в месяц, а шпульницы от 7 до 10 рублей. Подённому рабочему за 11½-часовой рабочий день платилось от 30 до 40 копеек, или 3—3½ копейки в час.

Но и эта заработная плата не всегда попадала в руки рабочего полностью. На ивановских фабриках, вплоть до забастовки 1905 г., была широко распространена система беспощадного штрафования — за каждый пустяк, за малейшее «упущение» со стороны рабочего. До 1887 г., т. е. до издания «закона о штрафном капитале», на ивановских фабриках царила невероятная штрафная вакханалия, так как до издания этого закона штрафы с рабочих шли в пользу фабрикантов. Старые рабочие рассказывают, что злоупотребление штрафами на ивановских фабриках в ту пору принимало зачастую невероятные формы. Нередко случалось, что фабриканты штрафовали рабочих сразу на четверть, на треть и даже на половину месячного жалованья. Были случаи, что проработавшему весь месяц рабочему причиталось получить за свою работу какие-нибудь три рубля: всё остальное уходило на штрафы, т. е. оставалось в кармане фабриканта. Многие из могущественных впоследствии «ситцевых королей» пошли в гору с этих штрафных денег: немилосердно штрафую своих рабочих, они понастроили громадные фабричные корпуса и возвели дворцы для собственного жилья...

С введением «закона о штрафах» эта вакханалия обирательства рабочих уменьшилась, так как собранные с рабочих

штрафы, согласно закону, шли не в карман фабрикантов, а особый «штрафной капитал», из которого выдавались рабочим всякого рода пособия.

Тем не менее, даже с изданием закона 1887 г, система штрафов на ивановских фабриках в дореволюционное время процветала.

Приведу сохранившиеся в моей памяти примеры штрафования: рабочий, получающий 12 рублей жалованья в месяц, за небрежную работу оштрафован на 1/12 месячного заработка; рабочий, получающий 8 рублей жалованья в месяц, за неосторожное обращение с огнём оштрафован на 1/8 месячного заработка; рабочий, получающий 7 рублей жалованья в месяц, за поздний приход на работу (опоздание выразилось в 15 минутах) оштрафован на 25 копеек, или лишился платы за целый рабочий день.

Редкий рабочий ускользал от штрафов. В конечном же итоге, благодаря постоянным штрафам, скудный заработок рабочего сокращался на 25—40%. Произвол и самодурство фабричного начальства делали из штрафов могучее орудие для угнетения рабочего. К этому надо ещё прибавить, что хитрые ивановские фабриканты даже к закону «о штрафном капитале» сумели подойти с выгодной для них стороны.

На фабриках было много больных, инвалидов, вдов и сирот, которые осаждали фабрикантов просьбами «о пособии». Не желая раскошелиться из своего кармана, фабриканты старались убоготворить всех этих «пенсионеров» за счёт «штрафного капитала», а чтобы таковой не оскудевал, под сурдинку дан был приказ фабричной администрации: «Штрафовать рабочих почаще на основании закона 1887 года»...

Кстати, пару слов о «пособиях» из «штрафного капитала». Беременной женщине, лишённой возможности работать на фабрике две-три недели, выдавалось пособие в

размере 2—3 рублей. Рабочему, лишённому возможности трудиться вследствие инвалидности, и даже целым семьям, осиротевшим после смерти работника-кормильца, выдавалось от 2 до 3 рублей и редко 4—5 рублей в месяц. Но многие инвалиды-рабочие, проработавшие на фабрике 30—40 лет, и этого не получали. Чтобы не умереть с голоду, они шли на церковную паперть и вставали там в ряды нищих...

Когда умер мой отец — красковар фабрики Кокушкина, — мать моя решила напомнить хозяину-фабриканту о том, что её муж добросовестно прослужил на фабрике больше 40 лет. Фабрикант, выслушав мою мать, велел выдать на похороны «верного» работника 10 рублей и тем ограничился...

Ограждая всячески свои предпринимательские права и интересы, ивановские фабриканты заботливо вносили в расчётные книжки рабочих всякого рода правила, и параграфы, охраняющие неприкосновенность их барышей.

Фабрикантша Е. О. Куваева, выдавая в 1875 г. «расчётные книжки» своим рабочим, заботливо оговаривала в них:

«...Если рабочий и мастеровой, взяв вперёд деньги с хозяина и сделавшись больным, не в силах заработать к сроку или не имеет чем заплатить, то по выздоровлении обязан заслуживать за срок столько времени, сколько по условленной задельной или месячной оплате нужно будет для покрытия хозяйского долга...».

Иначе говоря, хоть с голоду подохни, а отдай хозяину то, что забрал у него во время болезни...

В расчётной книжке, выданной рабочему фабрикантом Д. Г. Бурлыным в 1888 г., есть такие правила:

«§ 1. Нанявшиеся в работу фабричные и мастеровые обоёго пола и всякого возраста должны быть верными, послушными и почтительными к хозяину и его семье».

«§ 2. Без ведома хозяина воспрещается рабочим и мастеровым брать или отправлять чужую работу».

Дальше в расчётной книжке идёт тщательно разработанный «табель взысканий»...

Не платя рабочим за дни болезни, выдавая «пособия» и грошевые «пенсии» за счёт штрафного капитала, ивановские фабриканты наживали от своих предприятий огромные прибыли. Например, в 1911/12 операционном году Куваевская м-ра получила свыше 400 тыс. руб., а «Товарищество м-р наследника Н. Ф. Зубкова» — около 350 тыс. руб. прибыли. В 1915/16 операционном году Куваевская м-ра получила уже 1615 тыс. руб. прибыли, а «Т-во м-р Ивана Гарелина сыновья» «заработало» 954 тыс. руб., «Т-во м-р Н. Полушина н-ки» — 780 тыс. руб. и «Т-во м-р наследника Н. Ф. Зубкова» — 907 тыс. рублей.

Приведённые здесь цифры прибылей, несомненно, сильно преуменьшены. Они взяты мной из официальных отчётов фабрикантов, а известно, что господа фабриканты, составляя эти отчёты, не стеснялись заниматься подлогом, чтоб поменьше платить казне налогов...

Но если ивановские фабриканты, получая бешеные, миллионные барыши, строили на них роскошные палаццо для себя и бесились с жиру, то истинный творец этих огромных ценностей — ивановский рабочий влачил жалкое существование.

На основании сохранившихся у меня архивных данных, я постараюсь воспроизвести здесь бюджет ивановского рабочего в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого столетия. Чтоб не очень сгущать краски, возьмём, как объект обследования, рабочую семью всего лишь в три человека (муж, жена и ребёнок). Муж и жена работают на фабрике: он — квалифицированный рабочий, она — чернорабочая.

Приход

Муж получает в месяц	12 руб. — коп.
Жена » »	6 руб. 50 коп.
Итого прихода	18 руб. 50 коп.

Расход

	В месяц
Квартира (угол) по 1 руб. с человека	2 руб. — коп.
Особо «за нянчанье» с ребёнком	1 руб. — коп.
Весьма скудный постный «стол», без мяса и рыбы на 2 ¹ / ₂ человека (считая ребён- ка за 1 ¹ / ₂ человека и исходя из расчёта 15 коп. на одного человека в день).	11 руб. 25 коп.
Одежда и обувь на двоих.	2 руб. — коп.
На всё прочее, включительно до моло- ка ребёнку	2 руб. 25 коп.
Итого расхода	18 руб. 50 коп.

Как видите, это очень жёсткий, почти нищенский бюджет, при котором ивановский рабочий, работая по 12 часов в сутки и питаясь на 15 коп. в день, мог лишь нажить «малокровие» и туберкулёз, — эту профессиональную болезнь ивановских текстильщиков. Между тем, составляя бюджет рабочего, я, повторяю, старался не сгущать красок; взяв небольшую семью, в которой к тому же два работающих члена, я в приходной статье бюджета не принял во внимание разные неблагоприятные обстоятельства, сокращающие заработок рабочего, как-то: штрафы, болезнь, прогулы, долгий пасхальный перерыв в работе, длившийся иногда по пять-шесть недель, и т. п. А в статье расхода я не учёл и не вывел такие расходы, как расход на лекарство, табак и т. п.

Правда, я помню, в 80—90-е гг. жизнь в Иванове была, сравнительно, дешева. Но всё же и при этой дешевизне жизнь ивановского рабочего в то время была очень трудна и скудна.

Впрочем, получая мизерные оклады жалованья, ивановские рабочие, особенно те, кто вёл трезвую жизнь, ухитрялись делать «сбережения» из своих скудных заработков и даже строить себе жилища по фабричным пригородам и слободам — в Рылихе, на Графской земле, в Иконникове. Работая в то время на фабрике Гандурина и вращаясь в самой гуще рабочей среды, я наблюдал, какой ценой рабочие покупали у жизни эти «сбережения». Их копили рабочие буквально по грошам, экономя на самом необходимом: на пище, жилище, одежде. Эти гроши копились с тем, чтобы, истратив добрый десяток лет на собирании каких-нибудь двухсот-трёхсот рублей, нужных для приобретения «домишка», войти в него окончательно измотанным, затрёпанным нуждой и голодовкой человеком. Иногда, гоняясь за «своим домиком», рабочий не только не допивал и не доедал, но ещё чуть ли не до гробовой доски закабалял себя «хозяину», беря у него в долг «под постройку»...

КАК РАБОТАЛИ, ПИТАЛИСЬ, БОЛЕЛИ И УМИРАЛИ РАБОЧИЕ

Главный контингент рабочих на ивановских фабриках 80-х гг. прошлого века состоял из жителей Иванова и окрестных сёл. Позднее мы видим на ивановских фабриках громадный наплыв рабочих из крестьян Вятской, Костромской, Пензенской, Рязанской и других губерний. Этот иногородний элемент, или, по местному выражению, «натёка», образовался постепенно; началом его послужил «знаменитый» 1891-й голодный год,

заставивший крестьян голодающих губерний искать заработка на стороне. С этого «голодного года», прослышав о «лёгкой и вольной фабричной жизни», начали усиленно прибывать рабочие на ивановские фабрики из дальних губерний.

Каково же жилось рабочим на ивановских фабриках в конце прошлого и начале текущего столетий?

При возведении фабричных зданий ивановские фабриканты прежде всего заботились о том, как удобнее поставить ту или иную машину, как сэкономить строительный материал, как наиболее выгодным образом использовать рабочую силу. О том же, как сохранить здоровье рабочего, фабриканты совершенно не думали.

Вот что писал я в местную газету «Северный край» в начале 1905 года, описывая состояние ивановских ткацких фабрик.

«Большинство иваново-вознесенских фабрик, в том числе огромные мануфактуры с тысячами рабочих и миллионными годовыми оборотами, находятся в крайне антисанитарном состоянии... Не видавши, трудно представить себе, что представляют из себя эти археологические сооружения и при каких условиях нашему рабочему приходится в них работать. Представьте себе ряд низких, до-нельзя загаженных снаружи и изнутри коробок-корпусов, прилепленных и нагромождённых друг на друга, вопреки самым элементарным требованиям гигиены. На таких фабриках прежде всего свежего человека поражают ужасная теснота, грязь и отсутствие воздуха. Есть ткацкие фабрики, где в рабочих комнатах, с сотнями работающих в них станков и людей, совершенно не имеется никаких признаков вентиляции, несмотря на то, что здесь в продолжение 18-часовой работы в сутки двух смен рабочих температура доходит до 20°, а воздух так насыщается пылью от тканья, что дальние предметы окутываются густой дымкой, и плавающая в воздухе пыль, оседая

на цветные оложды и на лица рабочих, делает их серыми... Кроме того, при некоторых фабриках существуют подвальные этажи или, как их называют сами рабочие, — «подвалы», работа в которых производится в ещё более тяжёлых условиях; тесноты, грязи, духоты в этих подвалах ещё больше, и к тому же здесь вечный полумрак и сырой затхлый воздух. Работают тут почти весь день с огнём. Работа ткача, требующая внимательности и остроты зрения, при таких условиях прежде времени изнуряет рабочего».

На Кокушкинской фабрике, при обработке некоторых сортов ситца, люди падали в обморок и долго харкали потом кровью. Фабриканту Кокушкину «деликатно» указывали:

— У вас на фабрике люди болеют и задыхаются от недостатка воздуха... Необходимо устроить на фабрике хорошую вентиляцию...

В ответ на это фабрикант Кокушкин возмущался:

— А того не подумают умные советчики: во сколько же обойдётся мне такая вентиляция?! Хорошо чужим карманом распорядиться!.. Эка невидаль; работники от дурного воздуха лишней раз на фабрике чихнут да харкнут...

Я помню, как мой отец, работая красковаром на фабрике Кокушкина, приносил домой в одежде и волосах нестерпимое зловоние Кокушкинской фабрики. При этом отец добродушно шутил:

— Ничего. Мы, люди, этот запах фабрики переносим. А вот, если бы на нашу фабрику слонов пустить, так они, наоборот, сошли бы...

Даже позднее, работая на фабрике братьев Гандуриных, я имел много случаев наблюдать поразительное пренебрежение к «живым машинам» фабрики, к рабочему человеку. Помню, была на фабрике Гандуриных красковарка, где готовились краски и составы, нужные для производства. Эта красковарка

помещалась в низеньком, тесном и невыразимо грязном здании. Где-то в полуподвале, в длинной и узкой комнате с низкими потолками и осклизлыми от сырости стенами, при тусклом освещении загаженных, запылённых и никогда не открывавшихся окон, с утра до вечера варились и кипели в десятках медных котлов разные составы и краски, наполняя красковарку удушливыми, ядовитыми парами. Этих паров было так много, и они были так густы, что в красковарке, даже на расстоянии четырёх-пяти шагов, трудно было рассмотреть окружающие предметы; притом же пары издавали такой ядовитый и острый запах, что от них нестерпимо скребло в носу и в горле. Оседая на каменных, холодных стенах, ядовитые испарения красок и кислот образовывали на них потоки грязной, нестерпимо вонючей и едко пахнущей жидкости. В ядовитом тумане Гандуринской красковарки смутно маячили силуэты рабочих, которые, низко склонясь над котлами, неустанно мешали деревянными вёслами смеси и составы.

Эти смеси издавали настолько едкие испарения и запахи, что от них рабочие то и дело кашляли, чихали и протирали глаза.

Рабочие Гандуринской красковарки имели удручающий вид: все они, как на подбор, были чрезвычайно истощены, с впалыми грудями и с землистозелёным цветом лица; кожа рук, ног и лица у них была изъедена кислотами и обильно покрыта струпьями и кровоточащими ранками — следами брызг ядовитых кислот и красок; притом же у многих рабочих глаза слезоточили и гноились, а зубы во рту еле держались...

К сказанному о Гандуринской красковарке надо добавить, что от ядовитых испарений кислот и красок дерево дверей и окон красковарки казалось изъеденным и исцарапанным, а лист бумаги или лоскуток белой ткани, полежав часа два в атмосфере красковарки, принимали жёлтый или голубова-

тый оттенок и долго потом издавали едкий кислотный запах...

На других фабриках было то же самое. Так, например, в «зрельном» отделении Дербенёвской фабрики рабочие, спасаясь от ядовитых испарений красок, работали, держа во рту куски репчатого лука или изредка прихлёбывая из кувшина молоко. В «сушильных барабанах» той же фабрики стояла такая адская жара, от которой люди прежде времени ссыхались, становились похожими на мумии, получали скоротечную чахотку и рано уходили в могилу.

На ткацкой фабрике Ямановских было не лучше. В тесных корпусах, сотрясаемых сотнями ткацких станков, целый день стояла дымная пелена пыли; для вытяжки этой пыли на фабрике не существовало никаких приспособлений, и она оседала толстым слоем на спины и лица ткачей. Окончив смену, ткачи выходили из-за станков кашляя, с густым слоем пыли на лицах.

Ткацкие станки на ивановских фабриках в 80-х годах ничем не ограждались, и тяжёлые челноки, вылетая из бешено крутящихся машин, тяжело ранили рабочих в голову и лицо. Оттого среди ивановских ткачей в то время было так много кривых или со шрамами на лице...

Зарабатывая от 10 до 15 рублей в месяц, ткач редко сохранял работоспособность дальше 50-летнего возраста; переступив же его, он глух, слеп, дряхлел. Тогда администрация фабрики переводила его на другую, более лёгкую, но гораздо менее оплачиваемую работу, или, что бывало чаще, придравшись к плохой работе одряхлевшего ткача, увольняла его с фабрики, мотивируя свой отказ неспособностью ткача к работе. И старый работник, из которого высосаны все силы, оставшись без работы и средств, шёл «по миру». А фабрика, заменив его свежей рабочей силой и продолжая

экономить на археологических «дедушкиных и тятенькиных» фабричных корпусах, спешила дать хозяину к концу отчётного года лишнюю сотню тысяч барыша.

* *
*

Жилищные условия у ивановских рабочих были не менее тяжелы.

Большинство рабочих, особенно из пришлых, старалось заполучить квартиру в «фабричных спальнях», существовавших при некоторых фабриках. «Спальни» эти устраивались не с благотворительной целью, не с тем, чтобы дать рабочему возможность легче и безболезненнее разрешить квартирный вопрос, — нет, ивановский фабрикант, коммерсант по натуре, и на «спальнях» старался сделать выгодное дело! Он учитывал, что устройством «спальни» можно привлечь лучших работников, и при случае можно было «поприжать» этот народ, страдая его лишением «даровой» квартиры.

В огромном большинстве случаев «фабричные спальни» представляли собою грязнейшие казармы; обычно они устраивались в каком-нибудь из заброшенных и ненужных в данное время фабричных корпусов. В тесной, низкой комнате, лишённой какой бы то ни было мебели, вдоль стен были устроены громадные (во всю длину стены) сплошные «нары». На эти нары было брошено носильное платье рабочего, на котором рабочий спал и им же покрывался. Нары кишели мириадами насекомых, так как эти нары и полы «спальни» чрезвычайно редко мылись. Какая-либо вентиляция, даже хотя бы в виде оконной форточки, в «спальне» отсутствовала. И вот, когда в «спальню», после тяжёлой работы в душных корпусах и после нездорового, непитательного обеда в фабричной кухне являлись сотни людей и валились в

изнеможении на нары, — воздух в «спальне» быстро портился и становился невыносимо тяжким.

Измученные работой и недостатком свежего воздуха, люди по ночам спали здесь кошмарным, беспокойным сном, вскакивая со своего жёсткого ложа, дико крича и храпя.

Проведя ночь в такой «спальне», рабочий на утро вставал с болью в голове, разбитый и вялый.

На «вольных» квартирах ивановскому рабочему жилось не лучше.

Вот как описывались мною эти «вольные квартиры» в краевой газете «Северный край» за 1905 год.

«Обыкновенно квартирантов пускается в квартиру столько, сколько найдётся охотников поселиться в ней. Обычный размер квартир 7х7 аршин. И вот в такой квартире насчитывается от 8 до 12 квартирантов, а нередко бывает и больше. Условия найма таковы: с каждого квартиранта взимается по 1 рублю в месяц, за что он пользуется в течение месяца хозяйской капустой для щей, солью, услугами хозяйки как кухарки, правом находиться в комнате в свободные от работ часы и спать на полу в ночное время. В таких квартирах каждую ночь можно наблюдать следующую картину. Ещё с вечера всю мебель, какую только можно, как-то: столы, стулья, скамьи, — или выносят из комнаты вон, или сваливают в общую кучу в одном из углов комнаты. На полу расстилаются половики, одеяла, носильное платье, и на эти импровизированные постели ложатся рядком квартиранты, оставляя только посередине комнаты узкий проход. Спят вповалку, не отгораживаясь друг от друга, не разбирая пола.

Получается поразительная картина: при свете коптящего ночника, в синеватой атмосфере табачного дыма и испарений от просушивающейся одежды, в 7-аршинной комнате спят 10—15 человек, устлав своими телами весь пол комнаты.

Для рабочих, не желающих спать в общей куче, — такими обыкновенно бывают молодые муж и жена, — имеются кровати, за право пользования которыми взимается с двоих от 2 р. 50 к. до 3 руб. в месяц, и особые комнатки, которые представляют собою не что иное, как отгороженную ситцевой занавеской или дощатой перегородкой часть комнаты с окном, — за такое помещение взимается от 4 до 5 рублей в месяц с хозяйским отоплением.

О соблюдении хотя бы относительной чистоты и гигиены в таких квартирах, конечно, говорить излишне».

Скверны, ненормальны были жилищные условия у ивановского рабочего. Не лучше обстояло у него дело и в отношении питания. Большинство рабочих-одиночек, не имевших семьи, питалось в «фабричных кухнях», для которых на фабриках, так же, как и для спален, отводилось обычно самое заброшенное здание.

Если мы заглянем в местные газеты за 1902—1905 гг., то найдём там весьма мрачные описания фабричных кухонь и тех кушаний, которыми питались ивановские рабочие.

Так, в газете «Северный край» за 1905 г. местный корреспондент следующими штрихами рисует обстановку ивановских фабричных кухонь:

«Кухня помещается в мизерном, тесном и грязном здании. Когда я входил в кухню, то меня прежде всего поразил запах: смесь кухонного, до-нельзя удушливого и прокислого воздуха с сильным, бьющим по носу клозетным воздухом; не менее поразительно было обилие грязи, — грязно было всё: и артельная кухарка, и стены кухни, покрытые какой-то слизью, и лавки, и столы, и стоявшая на столе посуда — деревянные чашки, из которых сразу ели 15—20 человек...».

Другой корреспондент, описывая ивановские фабричные кухни («Северный край» за 1903 г., № 233), говорит, что

обычное «меню» этих кухонь было такое: «В обед и ужин — щи из серой капусты с небольшой подправой из пшеничной муки, каша гречневая или пшённая с одной ложкой постного масла; к чаю два раза в день чёрный хлеб».

Далее автор сообщает, что кой-кто из фабрикантов, «раздобывшись», давал в фабричную кухню бесплатно квас; серую капусту и соль.

Так питался в фабричных кухнях изо дня в день ивановский рабочий, исполняя на фабрике тяжёлую физическую работу.

Стол рабочих, живших на «вольных» квартирах, был не лучше. Те же постные щи из серой кислой капусты да гречневая каша с постным маслом составляли обычную пищу вольноквартирников. Но нередко и этот скудный горячий приварок являлся здесь роскошью. Многие рабочие жили из дня в день, из недели в неделю, питаясь лишь жидким чаем да варёной картошкой. Естественно, что при таких условиях работы и питания здоровье ивановского рабочего быстро расшатывалось.

Помню, на фабрику Гандурина, где я служил в 1890—1900 гг., являлись на заработки цветущие молодостью и здоровьем крестьяне Вологодской, Костромской и Пензенской губерний.

Через какой-нибудь год работы эту молодёжь было уже трудно узнать; румянец щёк сменялся землисто-серым цветом кожи: упругие, молодые мускулы дрябли, глаза мутнели, и вообще такой человек к 25—30 годам жизни начинал уже казаться измотанным, растратившим свои физические и духовные силы...

Статистические данные конца прошлого и начала текущего столетия дают удручающую картину заболеваемости и смертности среди ивановских рабочих.

Так, в 1902 г. на сотню рабочих приходилось в среднем до 272,7 заболевания, а в 1904 г. — 297,8 заболевания.

На ситцепечатных фабриках заболеваемость доходила до 832,5 случая на сотню рабочих!

Ко всем этим цифрам о заболеваемости рабочих на ивановских фабриках необходимо сделать поправку: цифры эти, несомненно, далеко не полны, так как хорошо известно, что ивановские рабочие в старое время неохотно шли к врачу и в больницу, зная, что необходимую помощь они не всегда получат и в больнице.

Чем же болели ивановские рабочие?

Наибольшее число заболеваний падает на органы пищеварения — они дают 17,8% всего числа заболеваний; затем идут заболевания органов дыхания — 15,3%, Плохая пища и плохой воздух служат основой для заболеваний организма. Эти два вида заболеваний, вместе взятые, дают более 1/3 всего числа заболеваний. Следующее место (до 28,3%) занимают болезни кожи и подкожной клетчатки, ушибы и другие травматические повреждения и глазные болезни.

Здесь необходимо особо остановиться на том, что на росте заболеваемости среди рабочих сильно отзывалась, помимо общей неустроенности фабрик и скверного питания, непомерная продолжительность рабочего дня на ивановских фабриках в дореволюционное время. В начале 70-х годов «условные правила» фабрики «Никона Гарелина с-вей» так определяли продолжительность рабочего времени: «Нанявшийся рабочий обязан работать 14 часов в сутки, а именно: в летнее время от 4 часов утра до 8 часов вечера, из этого времени предоставляется на обед 2 часа (двенадцатый и первый), и в зимнее время с 5 часов, утра до 8 часов вечера, на обед предоставляется один час — двенадцатый...»

Таким образом ивановскому рабочему в 70-х годах прошлого века приходилось стоять у станка или машины 14—15 часов в сутки...

В 80-х годах положение мало изменилось: рабочий день прядильщиков и ткачей определялся в 12 часов, а у ситцепечатников в 13¹/₂—14 часов; при этом применялись сверхурочные работы, фактически удлинявшие рабочий день до 18—20 часов в сутки!

Приведённые цифры и факты наглядно показывают, какой каторгой была для рабочего дореволюционная ивановская фабрика.

Про крупнейшего «ситцевого короля» — А. И. Гарелина — рассказывали, что он из себя выходил, когда, проходя по фабричному двору, видел под ногами брошенный гвоздь, винт или гайку. Он говорил в таких случаях: «В хорошо поставленном деле ничего не должно пропадать и валяться без пользы».

Но тот же фабрикант равнодушно проходил мимо, когда на его глазах в фабричном корпусе от удушливой фабричной атмосферы падали в обморок рабочий или работница.

Пишущий эти строки когда-то «имел счастье» работать на ситцевой фабрике «Антон Гандурин с братьями».

Один из совладельцев этой старой фирмы, Сергей Михайлович Гандурин, человек непомерной гордости и очень ограниченного ума, никогда не называл по имени рабочего или мелкого служащего, а обычно звал его презрительно: «Эй, ты!». А чаще всего ограничивался движением пальца или посвистыванием, маня к себе человека точно собаку...

«Сволочь!.. Чорт!.. Осёл!..» — другого названия не было для рабочего или мелкого служащего у этого типичнейшего представителя ивановской фабрикантской «знати»...

Презрение к рабочему человеку, полное равнодушие к его жизни, к его нуждам и страданиям — вот отличительные признаки дореволюционной ивановской фабрики.

НАЁМ РАБОЧИХ

В дореволюционное время на ивановских фабриках существовал обычай начинать новый рабочий год с пасхи. Задолго ещё до пасхи, неделе на четвёртой-пятой великого поста, начинался массовый расчёт рабочих с тем, чтобы взять их снова на работу уже «после праздников», т. е. после пасхи. Таким образом на всех ивановских фабриках ежегодно получался перерыв в работах на срок от трёх недель до месяца и больше. Фабрикантам этот перерыв был очень выгоден. С одной стороны, долгий перерыв в работе фабрик способствовал рассасыванию запаса товаров, скопившегося на фабрике за 10—11 месяцев работы, а с другой — он был необходим для ремонта машин, станков и зданий. Чтобы скоротать этот долгий перерыв в работе, все пришедшие рабочие уезжали на родину «на побывку», а прочно осевшие уже в фабричном городе рабочие печально расходились по своим углам с тяжёлой думой о том, как им пережить этот долгий, вынужденный «пасхальный отдых»...

После пасхи происходил новый набор рабочих, сопровождавшийся усиленной чисткой: фабриканты по заранее составленным спискам тщательно фильтровали рабочих, отказываясь принимать на работу всех тех, кто был замечен в чём-либо «предосудительном», включительно до пристрастия к чтению газет и книг. На заподозренных же в «крамоле» и участии в подпольных организациях составлялись «чёрные списки». При таких условиях нелегко было пробраться на фабрику «вредному элементу».

В последние годы перед революцией новый набор рабочих на фабриках имел упрощённую и, так сказать, «стандартизированную форму»: на фабричных воротах вывешивались заранее выработанные «расценки» на ту или иную

должность, согласно которым рабочие шли в фабричную контору «записываться на работу», где их при записи строго «фильтровали»: одних принимали, другим резко отказывали.

Раньше, в 80—90-х годах прошлого столетия, послепасхальный наём рабочих на ивановских фабриках носил более оригинальную, индивидуальную форму. Вот как, например, происходил этот наём рабочих и служащих на фабрике братьев Гандуриных.

Глава фирмы — Антон Михайлович Гандурин прекрасно знал не только в лицо всех своих рабочих и служащих, но и хорошо был осведомлён об индивидуальных способностях и качествах каждого работника, хотя таковых на двух фабриках Гандуринской фирмы (ткацкой и ситценабивной) насчитывалось несколько сот человек. Вооружившись ведомостью (списком рабочих), в сопровождении мастеров и старших рабочих, Антон Гандурин торжественно садился за стол в «нанимальной», истово крестился, говоря; «Господи, благослови на новое дело!.. Затем строго приказывал: «Ну, пушайте народ!..»

Вслед за этим в «нанимальню» один за другим, поодиночке, тянулись рабочие и служащие, в большинстве и до этого работавшие на Гандуринской фабрике.

— Ну, что скажешь, Кузьма Петров? — строго-торжественно встречал работника хозяин, на что тот обычно отвечал с низким поклоном:

— К вашей милости, Онтон Михайлыч! Уж не откажите, возьмите опять поработать...

— Ладно, приму... Цена тебе семь рублей, — говорит хозяин работнику, тяжело отдуваясь и вытирая платком большое, жирное лицо.

— Что вы, Онтон Михайлыч, пожалейте: в прошлом году я у вас получал семь с полтиной, а вы теперь семь назначаете. За что такая немилость?..

Фабрикант строго объясняет работнику, что он больше платить не может, так как вздорожало всё в производстве: и хлопок, и топливо, и краски, — ситец же из года в год дешевеет. Начинается торг. Торгуются оба, не торопясь, терпеливо, каждый отстаивая «свою копейку». Кой-кому из нанимавшихся Антон Гандурип прибавляет «за верную и долгую службу» четвертак или полтинник на месяц. Иногда хозяин, нанимая работника, не совсем ещё ему известного, склоняет ухо к мастерам и старшим рабочим, почтительно сидящим от него по правую и левую руку, и шопотом спрашивает у них:

— Каков?..

Получив соответствующую информацию, хозяин или «даёт по шапке» вновь нанимающемуся, т. е. гонит его, или милостиво изрекает:

— Тебе цена — шесть с четвертаком!.. — и опять начинается долгий торг, переходящий порой в горячий спор. Так длится неделю-две. Наконец, Антон Гандурин является в «главную контору» уставший, но довольный. Подавая засаленную ведомость старшему конторщику, он весело говорит:

— Ну, всех исповедал... Заводи в книги...

Эта фраза значит, что приём на фабрику рабочих закончен. Засаленная «ведомость по найму» испещрена хозяйскими пометками о «прибавках» и «убавках» жалованья. Кое-где против жирно вычеркнутых фамилий рабочих хозяйской рукой выведено: «мошенник», «пьяница», «вор», «в бога не верит», и вперемежку с этими надписями пестрят другие, более милостивые: «работает у нас 25 лет — прибавить целковый на месяц»; «на работу солощ — прибавить полтину...» и т. д.

Старший сын Антона Гандурина, только что возвратившийся из-за границы, где он долго учился, видя отца за таким торгом с рабочими, сказал ему однажды:

— И охота вам, папаша, возиться с такими пустяками...

На что отец строго возразил сыну:

— Нет, мнлый сынок, это не пустяки: я вот так поторгуюсь-поторгуюсь с рабочими, да, глядишь, на жалованье ихнем и выторгую тысконок 25, а то и все 30 в год. Меня тятенька-покойник этой науке «обучал, а ты, молокосос, критикуешь...

Постепенно, однако, как я уже указывал выше, такой обычай индивидуального найма рабочих на ивановских фабриках вывелся. Фабриканты, столковавшись между собой, заменили его автоматическим и стандартизованным наймом по заранее выработанным, строго нормированным и согласованным между собою «расценкам».

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Красковар Андреян Данилыч	3
Ткачиха Марья	9
Мишка-слесарь	14
Мефодушка-сирота	20
Внутренний уклад фабричной жизни	29
Заработная плата и бюджет рабочего	35
Как работали, питались, болели и умирали рабочие	41
Наём рабочих	52

Волков Иван Андрианович.
В СТАРОМ ИВАНОВЕ.

Редактор *Д. Г. Прокофьев.* Художник *Б. Н. Лукин.*
Художественный редактор *А. В. Пелипенко.*
Технический редактор *Р. Н. Боголюбова,*
Корректоры: *Н. А. Смирнова, Г. В. Маклашина.*

Сдано в набор 14/V-1955 г. Подписано к печати 5/VII-1955 г. Бумага
70x108¹/₃₂, 3,5 печ. л., — 2,39 усл.-печ. л., 2,28 уч.-изд. л. Тираж 10 000 экз.
КЕ-05844. Типография треста Росполиграфпром, г. Иваново, Типографская, 6.
Заказ № 3271.
Цена 70 коп.